

смолоду вліаніе на него одного изъ товарищей, будто бы «достигшаго впоследствіи какой-то дурной популярности отрицательными тенденціями и смолоду уже бывшаго армянъ нигилистомъ въ скверномъ смыслѣ этого слова (15)». Пріятно узнать, что авторъ такимъ образомъ признаетъ «нигилизмъ» и въ хоршемъ смыслѣ этого слова... хотя, все-таки, анонимное обвиненіе отъзывается личнымъ пристрастіемъ и такимъ образомъ брошеннымъ кому-то вызовомъ не обличается эволюція духовной жизни Соловьева. Эту жизнь предстоитъ еще написать. Она конечно полна высокаго интереса у гениально одаренной натуры, съ какой бы сдержанностью мы ни отнесли къ нѣкоторымъ сторонамъ усвоеннаго мнѣя міросозерцанія. Значительна именно эволюція его идей, при неустанномъ и глубокомъ разсужденіи всахъ правды. Въ оцѣнкѣ въ частности произведеній Владиміра Сергѣевича, едва ли можно согласиться съ мнѣніемъ, г-на Величко, что послѣдняя брошюра Соловьева—«Три разговора» представляетъ—«строго говоря, съ точки зрѣнія беллетристической самое интересное и серьезное произведеніе русской литературы за послѣдніе 10—15 лѣтъ (121)». Именно, «строго говоря»,—оно не занимаетъ такого положенія въ современной русской «беллетристической» литературѣ, ибо этотъ памфлетъ, мѣстами остроумный, часто пародоксальный, и во многихъ случаяхъ на три четверти публицистическій, имѣетъ по преимуществу лишь біографическій интерес, очень субъективнаго характера. Неужели оно значителѣе хотя бы «Воскресенія» Л. Н. Толстого и послѣднихъ произведеній Чехова, чтобы не вдаваться въ болѣе подробный разборъ нашей беллетристики за упомянутыя 10—15 лѣтъ и ея художественной оцѣнки? Не имѣетъ понятію какаимъ образомъ г. Величко устанавливаетъ заимку «западнаго», по его мнѣнію, формальнаго принципа—«свобода, равенства и братство», который онъ считаетъ «поддѣльнымъ, мертвеннымъ суррогатомъ, сердечной вѣрой русскаго народа въ трѣданныя «блага, истину и красоту» (108), ибо развѣ «блага и истина» исключаютъ свободу и равенство, и развѣ красота противорѣчитъ братству? Этого, конечно, не думалъ нашъ философъ, горячій проповѣдникъ идеи любви, а какая же любовь безъ братства, какая истина безъ свободнаго отношенія къ ней, какая справедливость безъ равенства, которое не есть тежество? Г. Величко, очевидно, во многомъ расходится со взглядами Соловьева, но мы все-таки согласимся съ авторомъ по крайней мѣрѣ въ одномъ выводѣ: Владиміръ Соловьевъ былъ «и въ основѣ горадо болѣе русскимъ, нежели многие изъ тѣхъ, кто съ нимъ полемизировалъ во имя русскаго идеи». Брошюра издана весьма изящно.

Ф. Бат—овъ.

Театръ. Лекціи Карла Боринскаго. Переводъ съ нѣмецкаго съ тремя дополнителными статьями и примѣчаніями приватъ доцента с.-петербургскаго университета Б. В. Варнеца. Спб. 1902 г. 144 стр. Ц. 1 р. Наша литература о театрѣ очень бѣдна, и потому переводъ популярныкъ лекцій Боринскаго является кетати. Самъ Боринскій не связанъ съ театроръ своей спеціальностью: онъ не драматургъ и не театралный критикъ, а социологъ, оттого то нѣтъ и ничяго мудренаго, что онъ не занимается своихъ читателей ни вопросами эстетическаго порядка, ни спеціальнорспечическими. Его болѣе интересуютъ широкія перспективы общей исторіи драматическаго творчества: цѣлымъ дѣлъ лекціи (изъ 8) Боринскій посвящаетъ общественному значенію театра. Это имѣетъ свою отрицательную сторону, конечно, хотѣлось бы иногда болѣе внимательнаго анализа или пересказа тѣхъ великихъ произведеній человѣческаго духа, которыя связаны съ подмостками, какъ напр. «Прометей» Эсхила, но лекторъ говоритъ о нихъ нѣсколько довольно небрежныхъ словъ, зато онъ прекрасно описываетъ значеніе греческаго театра, какъ учрежденія, въ отличіе отъ современной сцены.

Боринскій читалъ для нѣмцевъ, и самъ онъ нѣмецъ. Это создаетъ въ его книгѣ особая перспективу: нѣмецкая сцена у него, конечно, на первомъ планѣ.

итальянцевъ нѣтъ вовсе, испанцевъ и французовъ почти нѣтъ (Расшиъ заслуживаетъ едва 4 строки). Много говорится, положимъ, о Шекспирѣ, но Боринскій отбѣчаетъ при этомъ то обстоятельство, что Шекспиръ уже «1½ вѣка является общественнымъ достояніемъ нѣмецкаго народа» (стр. 43). Лессингъ, Гете и Шиллеръ стоятъ въ центрѣ изложенія, но не разъ указываются и второстепенные нѣмецкіе драматурги, какъ Клейстеръ и Грильпарцеръ.

Въ этомъ есть одно неудобство. На античную трагедію и вообще античность авторъ лекцій смотритъ съ точки зрѣнія Шиллера и Лессинга, не считаясь съ современными изслѣдованіями. Къ счастью для русскихъ читателей, переводчица книги Боринскаго, г. Варнеке, специалистъ-классикъ и имѣетъ съ тѣмъ (рѣдкое соединеніе!) прекрасный знатокъ исторіи и техники театра, испразднеть односторонность нѣмецкаго лектора. Она даетъ очень точный и обстоятельный анализъ ерриценовской «Меден» (стр. 126—133), и такимъ образомъ читатель можетъ самъ убѣдиться, насколько неправо утвержденіе Боринскаго, будто Шекспиръ первый сталъ придавать дѣйствіямъ драматическихъ героев психологическую мотивировку.

Отдѣльными страницами книги г. Боринскаго положительно прекрасны: напр., начало четвертой лекціи, посвященной трагедіи, гдѣ говорится о книгѣ Іова, этой первой и глубочайшей трагедіи человечества и ее параллели въ новой литературѣ, «Фаустѣ». Тема, затронутая попаризаторомъ, даже слышномъ богата содержаніемъ для тѣхъ крупныхъ штриховъ, которыми написана самая книга.

Очень хороша тоже 5-ая лекція, объ исторической драмѣ, гдѣ авторъ искусно связываетъ основанную на мифахъ драму античнаго міра, съ хрониками Шекспира, и черезъ произведенія Шиллера и Гете доводитъ историческую трагедію до сценическихъ постановокъ Грильпарцера. Можетъ быть, драмы Виктора Гюго дополнили бы эту перспективу съ успѣхомъ для ея наглядности и широты.

Прибѣжанія г. Варнеке важны во 1-хъ, тѣмъ, что они испраздняютъ нѣкоторыя неточности въ изложеніи автора, но специалистъ въ театральномъ мірѣ; во 2-хъ, они даютъ библиографическія указанія. Но самое важное то, что русскій издатель до нѣкоторой степени связываетъ книгу г. Боринскаго съ современнымъ театромъ и тѣми нарождающимися явленіями драматической литературы, которыхъ г. Боринскій не касался вовсе.

И. А.

М. Ватсонъ. Алессандро Манцони. Критико-биографическій очеркъ. (Итальянская бібліотека). Спб. 1902 г. Манцони не принадлежитъ къ тѣмъ немногимъ писателямъ, геній которыхъ преодолеваетъ всѣ преграды, воздвигаемыя между народами естественными границами языка и національной психологіею и искусственными перегородками таможенныхъ кордоновъ. Если выдѣлять изъ его литературной дѣятельности все, что имѣетъ значеніе лишь какъ извѣстная, пережитая, уже стадія въ исторіи новой итальянской литературы, въ исторіи итальянской общественной и политической мысли, то общечеловѣческаго элемента очнется весьма мало. Счастьіе этого, Манцони будетъ всегда чтимъ своими соотечественниками, — хотя это почтеніе, кажется, уже давно относится къ его имени и не основывается на любви къ его произведеніямъ, — для всѣхъ же остальныхъ народовъ, которые не имѣли несчастія испытывать гнѣтъ австрийскаго владычества, которые равнодушны къ притязаніямъ ультрамонтанскаго католицизма, которые имѣли свой ложно-классицизмъ и свой романтизмъ, Манцони никогда не станетъ близкимъ и дорогимъ. Само собою разумѣется, что для всякаго, кто хотя сколько-нибудь интересуется судьбами итальянской литературы, необходимо имѣть ясное представленіе о роли, какая въ ней принадлежитъ Манцони, и поэтому г-жа Ватсонъ, задѣвшись цѣлью оживить и систематизировать тѣ немногочисленные свѣдѣнія объ итальянской литературѣ, которыми обладаетъ русская читающая публика, вполне основательно удаляетъ ему одно изъ первыхъ имѣетъ въ серіи своихъ монографиче-